

О себе

В Северном Казахстане, у самой границы с европейской частью СССР, привольно и весело раскинулись в равнинной долине перелески, осиновыя колки, березовые опушки да тополиные рощи. А между этими релками да перелесками, и непременно по-над озером, стоят небольшие деревеньки, основное население которых — русские и казахи. В одной из таких деревенек, в семье учительницы начальных классов и ветеринарного врача, в самый разгар лета 1945 года родился я.

Сколько теперь я замечаю, много, пожалуй, слишком много, входит писателей в литературу с сиротской автобиографией. Да и что здесь мудреного, если случилась на земле одна из ужаснейших войн — Вторая мировая война. Еще и на моей памяти умирали фронтовики от ран, а многие мои старшие товарищи ходили в безотцовщине, еще на моей памяти сладковато-приторный вкус жмыха и ломкий хруст жареной пшеницы. Но мать моя умерла в мирное время, в 1956 году, когда мне едва исполнилось одиннадцать лет. Однако, как знать, не приблизила ли и ее жизненный срок все та же война?

Лишь с возрастом, вступая в зрелость, я отчетливо начал понимать, сколь многого лишился, потеряв мать. Тогда же, в одиннадцать лет, потеря для меня была не столь ощутимой, так как попал я на воспитание к деду с бабушкой — людям простым и добрейшим.

Дед — Сукачев Иван Яковлевич — прошел всю Первую мировую войну, в Гражданскую сражался в Первой конной и вернулся к мирной жизни только в 1922 году, женившись на крымской немке, будущей моей бабушке, Амалье Августовне.

Всю свою жизнь дед мой был связан с лошадьми: до действительной работал на извозе, служил в кавалерии, был конником Первой конной, конюхом в колхозе, а затем и совхозе и на пенсию вышел в этом же звании. И с самого раннего возраста, с каких пор позволено мне памятью ощущать себя в жизни, перед моими глазами дед и лошади, и еще — рассказы о них, и еще — вообще рассказы.

Теперь трудно сказать, был ли дед мой мастерским рассказчиком или же это детство наше позволяет столь красочно, живо и одухотворенно воспринимать как вымышленную действительность, так и действительность вообще, но факт остается фактом: все его рассказы живут сегодня во мне гораздо реальнее, чем, увы, многие страницы личной биографии. Так, впервые, в шестилетнем возрасте я узнал, что бывают войны, что умирать больно и лошади любят хлеб. И еще, к сожалению, что дед мой не очень смелый человек: бабушка курицу могла зарубить, а вот он — нет...

В шестилетнем же возрасте я написал свое первое стихотворение. Конечно же, назвать это стихотворением можно было лишь с очень и очень большой натяжкой. Но меня интересует другое — что потянуло меня, деревенского маль-

чишку, с горем пополам овладевшего азбукой, стихов не читавшего, к «изящной словесности»? И опять же приходит мне на память, что дед мой, а следом и отец любили импровизировать стихами, особенно, когда способности их к сему чудачеству подогревались отнюдь не горячим молоком.

Стихотворение опубликовали в школьной стенной газете, и на следующий год перешагнул я ее порог довольно-таки известным поэтом. Таким образом, с первого класса я стал бессменным членом редколлегии нашей стенгазеты и первым поэтом нашего села.

Когда мне исполнилось десять лет, родители мои предприняли большое путешествие — на родину бабки, в Симферополь, — во время которого, в Москве, я сбежал и целый час катался в метро на эскалаторе. Катание это обошлось мне дорого (дело не в деньгах), и когда я сел писать первый в своей жизни рассказ о моем походе в метро, я все еще сидел на табуретке чуть боком. Но тем не менее рассказ получился, и его даже опубликовали в районной газете. Факт этот, возможно, и поспособствовал тому, что отец уже более никогда не посягал на определенную часть моего тела. Так вот, в муках, и шел я к своему творчеству.

Лет с пятнадцати проснулась вдруг во мне неодолимая страсть к путешествиям. Первый мой выезд, в школьные каникулы, был на крыше вагона в Караганду, где я хотел устроиться работать на шахту. Шахтера из меня по возрасту не получилось, и я подался далее, в Ташкент, убирать хлопок и есть яблоки. Объявился и друг, Коля, с которым мы предостаточно намаялись на наших «сверхплацкартных» местах, прежде чем достигли желанной цели. Впрочем, в самый последний момент на пути к хлопку и яблокам встал милиционер. Обратный маршрут был не менее долг и тягостен, так что я едва лишь успел вернуться к началу занятий в школе.

В следующее лето я работал дома киномехаником, затем поступил в строительное ФЗО, получил специальность плотника, отработал год на стройке, уехал в Архангельск и там три месяца ходил матросом на морском буксире, вернулся домой, а уже через полгода числился сезонным рабочим отряда номер один в Улан-Удэ. А далее, как говорится, и пошло, и поехало. Был комбайнером в Казахстане и бурльщиком в Забайкалье, строил баклабораторию в Уссурийске и чистил порт Находку на земснаряде «Тихвинка», кочегарил, плотничал, освоил профессии каменщика, печника и докера. Весь этот калейдоскоп мест и профессий, менявшийся так же быстро, как меняются в юности друзья, остановился и замер лишь в 1964 году, с призывом в Советскую армию.

С этого момента и начинается более или менее осмысленное и упорядоченное творчество. Ибо, хотя я и накопил в своих путешествиях пять общих тетрадей стихов и три тетради с повестями и рассказами, все это, конечно же, почти никакого отношения к литературе не имело.

Литературное объединение, первые публикации, первая и вторая премии в литературном конкурсе гарнизонной газеты — все это не столь поддержало мое творчество, сколько заставило задуматься о той стезе, на которую я начинал выходить, путаясь в затесах литературных школ и направлений. И впервые пришло ко мне сознание — что впереди большая работа и что работать придется «без дураков».

Сразу после армии, лишь три дня пробыв дома, я вновь отправился на Дальний Восток, ибо уже не мог без этого просторного края, ибо уже стал он для меня второй родиной. Окончив курсы парашютистов-пожарных, сезон работал на пожарах, затем ушел литературным сотрудником в газету и с этой поры уже осознанно и всерьез стал осваивать многотрудную школу литературного мастерства, к истокам которого вышел я когда-то в шестилетнем возрасте.

Первая серьезная публикация — повесть «Огненный десант» в журнале «Дальний Восток». Первая серьезная школа — семинар В. П. Астафьева на зональном Иркутском совещании в 1974 году.

Мне остается только добавить, что первая моя книга «У светлой пристани» вышла в 1975 году в Хабаровском книжном издательстве. Что герои мои — люди разных профессий и поколений, ищущие, сомневающиеся, счастливые и несчастные, но непременно — Любящие.

У ОЧАГА

Повесть-притча

Может быть, и вы замечали, как легко и покойно думается нам у огня. Так-то исподволь располагает к размышлениям еще разве что вода: где-нибудь над рекой, у тихого плеса над озером или у моря. Две стихии, извечно сопровождающие человека, породившие и выпестовавшие его...

Вот и мне припоминаются нынче долгие сумеречные посиделки у нашей кухонной печурки. Далекий свет пробивается из приоткрытой топки, и в его неверных отблесках встает, как живое, лицо моей бабушки, незабвенной Амалии Августовны Бауэр.

Богом забытая, ветрами продутая, сугробами по самые крыши занесенная североказахстанская деревня Бескамышка, где глубокой осенью 1941 года нашла приют депортированная семья моей мамы. Как они тогда выжили, попав из солнечного Крыма в сорокаградусные морозы, — одному Богу ведомо. Но — выжили... И вот мы сидим у тепло и уютно потрескивающего огненного родничка, и бабушка моя, переделав всю дневную крестьянскую работу, которой за день несть числа, пристраивается у печурки на отдых: пряхсть пряху... Пройдет много лет, я переживу много радостей и печалей, обзаведусь собственными детьми и внуками, прежде чем окончательно пойму, что это были лучшие в моей жизни вечера. Что рассказы моей бабушки Амальи, согретые теплом незабвенной печурки, всю жизнь будут для меня путеводной звездой, в свете которой стану поверять я все свои помыслы и поступки...

И вот наконец настала та минута и пришел тот час, когда я понял, что не могу и дальше носить в себе драгоценные зерна, оброненные в мою память в те далекие вечера, что пора поделиться всем услышанным и хотя бы вкратце попробовать все это рассказать. А начну я с самого памятного и, быть может, самого трагичного дня в жизни моей бабушки, пришедшегося на август 1941 года.

КУКЛА

— Конечно, мы уже знали, что нас в покое не оставят. С первого дня войны знали. А все равно, как гром среди ясного неба. — Баба Амалья горестно поджимает маленький рот, и к уголкам ее продолговатых глаз сбегаются мелкие морщинки. — Сутки нам только и дали на сборы. А хоть и пять суток — много ли насобираешь

в один чемодан? Приказ был такой: на каждого взрослого человека по чемодану и постельное белье. Майн Гот! У нас пятеро детей, мы с твоим дедом, а еще глухонемая сестра Миля да средняя сестра Ида. Посчитай, сколько нас человек получается? Маме-то твоей, Лидии, уже девятнадцатый год пошел, потом Иван, Володя, Нина и младшенькая Фрида... Ей только-только годик сравнялся. Легко ли такую ораву собрать? Да делать нечего...

А по всему нашему Фриденталю вой стоит, словно в каждом доме по покойнику. Каково, скажи ты мне, в одни сутки с места сорваться, все нажитое годами добро невесть на кого бросить. Что правда, стали мы перед войной жить получше, про голод забывать начали. Денег, конечно, как и сейчас, в глаза не видели, но иногда давали нам расчет натуральными продуктами.

Нам, конечно, говорили, что увозят временно, что все здесь в целости и сохранности останется, да где уж там...

Бабушка моя горестно вздыхает, и веретено на минуту замирает в ее темной изработанной руке. Но вот неуловимое движение, и потянулась нить пряжи дальше, а вместе с нею и рассказ.

— Я через те сборы и поседела впервые. Собаки воют, коровы в стойлах мычат, бабы по всей деревне нашей мечутся, друг у друга советы выспрашивают, что и как в дорогу собирать. А время идет, как на лыжах с нашего сугроба катится... И вот утром пошли по хатам уполномоченные при форме и оружии. Стали нас из домов собственных выгонять. А что нас выгонять, без того все позапуганные, дышать боимся.

И вот вышли мы со своими чемоданами да узлами, дверь прикрыли, и все у меня внутри как захолонуло, так, кажется, и до сей поры не отпускает. — Бабушка вздыхает и громко сморкается в фартук. — И погнали нас, как последнюю скотину, к подводам. А Фрида, младшенькая, как что почувствовала, расплакалась и свою любимую куклу из рук выронила. Я схватилась — кукла в пыли лежит, дочка к ней руки тянет... Ну и кинулась я было за ней. А он передо мною как встанет, уполномоченный-то, в глазах ненависть аж зрачки растопила. Ничего не сказал, а пригнул меня тем взглядом, так пригнул, что я и по сей день выпрямиться не могу... Так на всю жизнь и осталось у меня от того дня перед глазами: кукла в пыли валяется, зареванная Фрида моя к ней ручонки тянет, и тот уполномоченный передо мной стоит...

Сколько их потом было — упаси бог.

БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ

— И как попригнали нас на железную дорогу — велели дожидаться. А чего дожидаться — никто не знает. Сели мы в кружочек на наши фанерные чемоданы, узлы в пыль побросали, так как все восемнадцать километров пешком шли и от усталости ног под собою не чувляли. Смотрю я на твоего деда, а у него желваки по скулам гуляют: как же, бывший буденовец, Врангеля в Черное море скинул, а тут тебе такое... А на ту минуту мимо нас двое военных проходят: один постарше будет, другой молодой, подтянутый. И вдруг тот, что постарше, к нашему деду бросается. Смотрю это я, а они уже друг друга тискают и по плечу хлопают. «Да это же Иван Сукачев, — кричит старшой. — Мы с ним Чангарский мост у батьки Махно отбивали! Знакомся, товарищ комиссар, это наш человек! Он как в двенадцатом году на действительную ушел, так до победного двадцатого, когда мы буржуйскую контру раздавили, и воевал». — Бабушка прищурилась, словно бы

приглядывалась повнимательнее к кому-то, и повела рассказ дальше: — Смотрю, поручкались они с тем комиссаром, сигарки свернули и ну белый свет копить. А кругом народ — кишмя кишит. Дети малые плачут, мужики угрюмо в землю смотрят, женщины узелки да котомки разворачивают, перекусить готовят из того, что каждый успел из дома захватить...

Вдруг фронтовой друг нашего деда спохватился и спрашивает его, мол, ты-то как здесь оказался, посреди этого сброда? Наш дед ему все и обсказал — что да почему... Смотрю я — хмурится молодой военный, ремень поправил, кругом запоглядывал. А старшой покраснел как рак и давай возмущаться: «Да какое они право имели! Да кто посмел?! Да мы сейчас за своего боевого товарища тут такое учиним — разве можно его с какими-то там немцами равнять?» Тут молодой его в сторонку отзывает, и они о чем-то сильно заспорили — о чем, врать не буду, потому как не слышала... Только велели они нам ждать, а сами в город направились, к большому военному начальнику, с которым тоже когда-то вместе воевали. Смотрю я на нашего деда, а у него грудь колесом, усы свои рыжие молодецки расправляет, глаза блестят. Я и говорю ему: «Ой, Ваня, подожди радоваться. Не забывай, кто я у тебя такая...» А он мне в ответ: «Не может того быть, чтобы боевые товарищи меня в беде бросили. Я ведь того Саенко, до которого они сейчас пошли, два раза от верной смерти спасал». — Бабушка умолкает, потом берет новую порцию шерсти, аккуратно привязывает к прялке, и закрутилось веретено дальше. — А то ты нашего деда не знаешь...

И вот, значит, солнце жарит — спасу нет, пыль столбом стоит, а мы все сидим и что с нами дальше будет — не знаем. Не то нас всех возьмут и в тюрьму позапирают, не то к оврагу за город выведут... В общем, какие только думки в голову не лезут. Нянька твоя, Миля, плачет, как малое дитя, все на руках что-то спрашивает, а что ей ответишь, когда сам ничего не знаешь.

Наконец эти военные возвращаются, и вид у них такой, что мне сразу все понятно стало. Отозвали они нашего деда в сторону и долго ему что-то втолковывали. Смотрю я, Ваня мой мрачнее тучи сделался, кулаки так сжал, что пальцы побелели. А тут в аккурат команду подают, чтобы мы с места снимались и на товарную станцию следовали, где нас вагоны ожидают. Попрощался наш дед с боевыми товарищами, подошел ко мне и в глаза не смотрит. Так ничего и не сказал в тот раз. И только много времени спустя попыталась я у него, что дважды им спасенный товарищ Саенко предложил ему от семьи отказаться, отправить жену-немку с детьми куда положено, а самому идти на службу в государственные органы. И даже должность немаленькую ему пообещали в награду за отступничество от собственной семьи. — Бабушка моя вздыхает и неожиданно весело улыбается: — Да разве же нашего деда на такое дело собьешь — ни за что...

Бабушка умолкает. Покрытые серым пеплом постепенно угасают угли в печурке. Слышно, как негромко подвывает на улице ветер в телеграфных проводах. Я не выдерживаю и тихо спрашиваю бабу Амалью:

— А дальше?

— Дальше, это уже другой рассказ, внучек. А тебе давно пора спать ложиться — завтра рано в школу вставать.

ВАГОН СМЕРТИ

— Ну дак вот, значит, внучек, пригнали нас на товарную станцию и распихали по вагонам. Не знаю, в каких вагонах тогда люди ездили, а вот в тех, куда нас рас-толкали, раньше скотину возили. На весь вагон два крохотных оконца под самым

потолком, нары в три яруса сколочены — вот и все удобства. Нары те из свежего теса, как видно, специально для нас были заготовлены.

Грузились мы уже в темноте, в страшной спешке, так что многие семьи тут же и порастерялись. Вот и мы, когда после той погрузки пришли в себя, глядь — нет Иды с Милей. В вагоне темнота, людей, как селедок в бочке, двери снаружи наглухо заперты, и вот что ты хочешь, то и делай. Давай мы кричать, весь вагон обыскали — бесполезно. Ида-то ладно, все при ней — здоровая тридцатилетняя баба, а нянька-то твоя — глухонемая... Майн Гот! — Бабушка Амалья бросает веретено и скрещивает руки на коленях, и тонкие губы ее горестно поджимаются. — Двое суток мы в тех окаянных вагонах безвылазно высидели. И что там творилось, внучек, упаси бог! Ночью-то еще ничего, а днем от жары и духоты хуже, я думаю, чем в аду. Выпускали нас «до ветра» по два человека и только под охраной. Дважды разрешили водой запастись, а про еду никто и не вспоминал — не до того было... Наконец среди ночи подцепили нас к локомотиву, и мы поехали. Куда, зачем, почему — никто ничего не знает. От всяких догадок голова трещит: кто говорит, что везут нас в самую Германию менять на военнопленных солдат, кто про Магадан сдается. А как оказалось потом, повезли нас почему-то на Кавказ... Почему — и по сей день не знаю.

— А где тетя Ида с нянькой были? — не выдерживаю я.

— В соседнем вагоне, — вздыхает бабушка. — Да только узнали мы об этом не скоро, уже под бомбами.

Человек ко всему привыкает, внучек... Постепенно пообвыкли и мы в наших скотских вагонах, сгуртовались по углам семьями. Ехали-то мы в основном ночью, а днем все больше на небольших станциях пережидали. Здесь же нас когда и покормят, выдадут суточную норму, от которой через пять минут и следа не оставалось. И начали люди потихоньку от такой жизни изнемогать: в основном, конечно, от дизентерии. Очень скоро уже половина вагона на ноги не вставала... Сколько раз мы к охранникам обращались, а у них один ответ: наша бы воля — мы бы вас давно постреляли. И вот тут-то я впервые и услышала, внучек, как нас фашистами проклятыми обозвали... Ну да ладно, не о том речь сейчас. Ехали мы, значит, ехали и приехали: начали наш состав бомбить. Я и не знаю, по чьему такому милосердному велению охранники на тот момент все двери вагонов поотпирали, а иначе не сидели бы мы с тобой здесь...

Вновь крутится в бабушкиных руках веретено, бесконечно вытягивая и скручивая шерсть в крепкую нитку, из которой навяжет она потом всем нам теплые варежки и носки.

— Поезд наш шел-шел да вдруг и встал, как споткнулся. Ну, думаем, мало ли чего... Только слышим: снаружи крики доносятся и двери вагонов громяют. Дошла очередь и до нас. И только это они дверь-то откинули, а наш вагон возьми и закачайся, да так сильно, что пол из-под ног вышибло. И что тут началось! Вокруг все трещит и грохочет, люди истошно кричат, в дверях давятся, больные с воплями под ногами ползают, а на них никто внимания не обращает. Я как схватила Фриду, так и опамятовалась уже под откосом, в каких-то кустах. Это потом уже вспомнилось, как твой дед, старый вояка, тащил меня с ребятами в единственно спасительное место — под откос. А за ним уже и другие посыпались, и среди них Ида с Милей. Бомбы воют и рвутся, самолеты с черными крестами на нас то и дело падают — светопреставление и только. Но самое страшное, внучек, было у нас впереди... Кончилась бомбежка, выползли мы на железнодорожное полотно, а там от нашего вагона одни щепки валяются. За каких-то пятнадцать минут мы тогда сорок три человека из нашей деревни недосчитались...

Тепло подле нашей печурки, уютно в натопленном доме, а у меня мурашки по спине ползут. Смотрю, платет моя строгая бабушка, и я тут же посунулся к ней в ноги, под шершавое тепло ее ладони.

— Так вот и стал наш вагон, — горестно вздыхает бабушка Амалья, — погибелью для сорока трех невинных душ.

ТАК ВОТ МЫ И ЕХАЛИ

Этот день я особенно любил: раз в неделю бабушка выпекала хлеб в большой русской печи. С вечера в топку укладывались сухие березовые чурки, под них подсовывали бересту, и в половине четвертого утра священнодействие начиналось. Открыв вьюшку и заслонку, баба Амалья чиркала спичкой, и ровное, уютное гудение пламени растекалось по нашей кухоньке. Моя железная кровать, с досками вместо панцирной сетки, стояла здесь же, напротив печурки, боком приткнувшейся к большой печи. И я мог наблюдать за бабушкой, не вставая со своего места. В тусклом свете керосиновой лампы все казалось необычным, исполненным особого значения и смысла. Деревянная квашонка, в которой баба Амалья замешивала тесто, противни, ухват, гусиное перо, чистое полотенце... Все в том крестьянском быту было выверено до мелочей вековым опытом и нуждой.

Но вот белые булки, смазанные поверху при помощи гусиного пера яичным желтком, отправляются в печку, устье которой плотно прикрывается заслонкой. По настенным часам с гирей бабушка замечает время и наконец-то присаживается к столу попить чай.

— Бабушка, а что дальше-то было? — приступаю я к сокровенной просьбе.

— Да ты разве не спишь, внучек? — притворно удивляется бабушка и смотрит на меня весело прищуренными глазами. — А я-то думала, что ты седьмой сон досматриваешь.

— Расскажи, — тихо прошу я и затаиваю дыхание.

— А хлеб наш мы не провороним? — баба Амалья опять взглядывает на часы и сама себя успокаивает: — Да нет, полтора часа еще ждать... А на чем это мы в прошлый раз остановились?

— Как вагон ваш разбомбили, — живо подсказываю я.

— Ну да, верно, — вздыхает бабушка и отставляет чашку с недопитым чаем. — В щепки его тогда разнесло прямым попаданием... Ну, значит, пособирали мы то, что от наших деревенских осталось, выкопали под откосом яму в песке да и похоронили с миром. Помолились всяк про себя, а сопровождающие нас уже дальше гонят, по оставшимся вагонам распахивают... Ох, внучек, вспоминать тошно, да делать нечего: взялся за гуж — не говори, что не дюж...

Человек сто нас в тот вагон набилось. На узеньких нарах по двое спали, а кто помоложе да пошустрее — под нарами хоронились: там и попросторнее было и холодок от пола тянул. И начали нас возить из одного конца в другой. Как водится, ничего нам не сообщали, желания нашего не спрашивали, а везли и везли, бог знает куда. Отпахнут на полустанке двери, выпускают по нужде, и видишь, что степь перед тобой до самого горизонта. В другой раз — лес стеной стоит, а то вдруг горные вершины в снегу белый свет застыт. Так два месяца и провозили-промучили нас в тех окаянных вагонах. Слава богу, хоть подкармливали иногда. А вот чтобы умыться или постирать что-нибудь с себя — ни-ни, даже и не заикайся, а то опять про «фашистское отродье» напомнят. Мужикам-то еще куда ни шло, а вот нам, бабам, чистая погибель. А тут и еще одна напасть: стали нас одолевать

вши... Вот веришь ли, по голове ногтем с силой проведешь — треск стоит, столько их там собиралось. Бедная наша Фрида, ей-то от них особенно досталось. Они, проклятые, на нее с особенной силой напоздали... Днем-то мы еще кое-как от них отбивались, а вот ночами они пожировали. У Фриды вся головенка коростами покрылась — она же не понимает ничего, расчесывает, а они в те ранки так и ползут, так и ползут, проклятые...

Бабушка трижды перекрестилась и надолго умолкла, и я уже было решил, что сегодня ничего больше не услышу, но она поборола себя и продолжила:

— Целыми днями мы только тем и занимались, что изничтожали эту нечисть на себе. Мужики разденутся до исподнего и ну по швам их давить, а женщины, кто ножом, кто еще чем, друг у друга в головах ищут. Да их-то искать особенно не надо было...

Но что я больше всего запомнила от той поры, так это умершего от дизентерии Вильгельма Боша. Был он человек одинокий, пожилой уже, из соседней с нами деревни. И вот мы как-то утром проснулись, а он — нет... Его в уголок положили, и так он там четверо суток пролежал. Так вши по нем, веришь ли, внучек, табунами гарцевали. Идешь мимо, а они с него на тебя скачут. И только через четыре дня, когда он уже сильно попахивать начал, бедного Вильгельма куда-то унесли.

Так вот мы и ехали, — заключает баба Амалья и уворачивает не в меру разгоревшийся фитиль керосиновой лампы.

НАСТАЛ И НАШ ЧАС

— Бывали такие случаи, когда нас выгоняли на работу, — рассказывает дальше моя бабушка Амалья. — Один раз мы целую неделю на бахче арбузы убирали. Смех и грех. — Глаза у бабушки лучатся, к уголкам мелкие морщинки сбежались. — Как набросились мы на те арбузы — спасу нет. А потом и пошло-поехало: из кустов не вылезаем. Бежишь в лесопосадки, а из-под каждого куста то рыжая голова Иосифа Шнайдера, то лысина Арнольда Зеемана. — Бабушка тихо смеется, перематывая бесконечную шерстяную нить в большой клубок. — Потом еще картошку на колхозных полях убирали, вагоны разгружали — работы хватало. И тут другая беда приспела: стали мы по ночам мерзнуть. Днем вроде бы еще жарко, солнце припекает, в вагоне душно, а ночью проснешься от холода и уже не можешь заснуть. А теплого-то мы почти ничего с собой не взяли: что было на нас — в том и уехали. Нас же обещали через два месяца домой вернуть... Хорошо хоть у Фриды тонкое одеяльце было, но и под ним она начала замерзать. Мы ее под дедов сюртук, под мою жакетку укутаем, а сами потом зубами стучим. Смотрим, и остальные замерзают: взрослые по вагону скачут, чтобы согреться, ребятишки борьбу затевают, повыше на нары забираются... А потом увели из нашего вагона сразу двадцать шесть человек. Приехал за ними какой-то начальник в фуражке и военном френче, в очках. Зачитал по списку фамилии, и — на выход. Куда их забирали, зачем — никто ничего не знал. Приметили только, что отобрали в основном мужиков здоровых и молодых, у кого детей было мало. Потом уже, несколько лет спустя, узнали мы, что все они попали на карагандинские шахты — уголь добывать...

Да, такие вот дела. — Бабушка задумалась, видимо, припоминая тот день. — Хорошо хоть наши ребята еще не доросли: Ване только-только шестнадцать сравнялось, Вальдемару пятнадцатый пошел. Ну а мама твоя перед самой войной педагогический техникум в Феодосии успела закончить, восемнадцать лет ей было. Меня одно удивляет, как они тогда твою тетку Иду не загребли: она одна у нас и

по возрасту и по здоровью подходила... В общем, повезли нас дальше. В вагоне заметно попросторнее стало, да и отношение к нам изменилось: стали чаще на волю выпускать и никто уже за нами особенно не присматривал. Видимо, поняли наконец, что никто из нас бежать не собирается, да и куда бежать-то, скажи ты мне на милость?.. Долго ли коротко, но настал и наш час. Ночью наши вагоны отцепили, загнали в какой-то тупик, и почти сутки мы там простояли. Ребятишки в окна под потолком повысовывались и рассказывают нам, что люди здесь какие-то странные: не то сильно на солнце загорели, не то коричневые вообще. С узкими глазами, мол, маленькие, и все вроде как с детскими панамками на голове. — Бабушка моя опять тихо посмеивается, а вместе с нею и я, хорошо понимая, что речь идет о казахах и тибетейках. — Да мы и сами уже слышим, как чудно кто-то подле наших вагонов разговаривает. Я в то время по-русски уже хорошо говорила и понимала благодаря нашему деду: по первости, когда я за него замуж вышла, мы два года у него на родине, под Харьковом, прожили. А остальным-то нашим немцам что русский, что казахский — почти никакой разницы. И вот слышу я, как две русские женщины разговаривают. Одна другой и говорит: «Ты только посмотри, Клава, до нас немцы приехали». А Клава ее и спрашивает: «Как это — приехали? Сами, что ли? Наверное, пленных фашистов привезли, а не сами они приехали». — «Да нет, — отвечает первая, — я слышала, что это наши немцы: не то с Волги они, не то с Кавказа». — «Как это — наши?! — даже взвизгнула та Клава. — Думай, что говоришь! Разве могут немцы быть нашими? Ты по радио слышала, что говорят? Самые заклятые враги они наши, немчура проклятая, фашисты недобитые...»

Бабушка Амалья умолкает и долго смотрит в одну точку. Под нашими окнами прошли ребята, и хорошо было слышно, как скрипит на морозе снег под валенками. Потом кто-то из них громко засмеялся, и снова все стихло.

— Меня, внучок, не сами слова удивили, — грустно продолжает бабушка, — к ним я уже успела немного попривыкнуть, а то, как они были сказаны... Столько презрения и лютой ненависти в голосе я до той поры еще не слышала. И уже по тому голосу этой самой Клавы я поняла, какая распрекрасная жизнь нас впереди ожидает. Слава богу, внучек, что не все были такими, а иначе в первые же месяцы перемерли бы мы как мухи...

Я подошел к окну, отдернул старенькую ситцевую занавеску, и огромная круглая луна вшпыла в нашу крохотную кухоньку. Луна была одна, а люди разные рождались, жили и умирали под нею, и впервые я задумался тогда — почему?

Увы, ответа не нахожу до сих пор...

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Вторые сутки метет. В нашей бескамышенской школе только четыре класса, и поэтому я первый год хожу за полтора километра в колугинскую семилетку. Вторые сутки метет, и по радиотрансляции во второй раз отменяют занятия в школе. По такому случаю у меня непредвиденный праздник, который мы с бабой Амальей и отмечаем особенно долгим чаепитием за завтраком. Правда, потом надо будет чуть ли не половину дня откапывать дорожку от нашего дома к дороге, скирду сена на задах огорода, чтобы надергать сена для Буренки и овец, потом сводить их на водопой к проруби, наносить дров для голландки в горнице и для печурки на кухне, но все это — потом. А пока мы чинно сидим за небольшим кухонным столом, пьем жиденский чай с земляничным вареньем, и за спиной у меня тикают старинные ходики...

— В аккурат на тот час, когда дали нам команду из вагонов выгружаться, — подперев щеку рукой, рассказывает баба Амалья, — первый снежок землю притрусил — была уже вторая половина октября. А мы-то все в летней обуви, безо всякой зимней sprawy: кто в сандалиях, кто в туфлях, кто в босоножках. А тут снег, да еще и ветер до косточек пронизывает. Но нашлась добрая душа, подумала о нас, дай бог ей здоровья: к нашему приезду помещение, где велено нам было дожидаться, хорошо протопили и даже пол подмели. А мы-то грязные, оборванные, обовшивевшие, кто во что горазд закутан... Стыдно вспоминать такое, внучек, да из песни слова не выкинешь.

— Бабушка, а куда вас привезли? — уточняя я и пытаюсь представить мою бабу Амалью, всегда аккуратно и строго одетую, в босоножках и рваном платье, но никак представить не могу.

— В Мамлютку нас и привезли — куда же еще? — удивляется бабушка моему вопросу. — Это сейчас она расстроилась, а тогда чуток побольше обычной деревни была. Крохотный вокзал, больше похожий на сарай, где нас и разместили дожидаться подводы из колхозов... И вот надо же было так случиться, что именно в этот день Мамлютский райвоенкомат отправлял на фронт мобилизованных мужиков. И привезли их на тех самых подводах, что должны были нас забирать... Мужики, понятное дело, дома напровожались да еще и дорогой добавили. Вокруг них жены, родня кружатся — плач стоит, крики. К тому времени уже никто на скорую победу не рассчитывал и на фронт погеройствовать не рвался. Фашисты шли и шли вперед и уже чуть ли не к самой Москве подступали. Все чаще похоронки стали приходить; люди без рук, без ног возвращались — какое уж там геройство. В общем, было от чего бабам ревмя реветь. И вот сгуртовались они перед железной дорогой, прощаются, ждут, когда состав на отправку подадут. А тут кто-то и вспомнил, что ночью немцев привезли и велели подводы за ними подогнать. Ну и началось...

Баба Амалья тяжело вздыхает и переводит взгляд с меня за окно, где все никак не утихомирится разбушевавшаяся непогода.

— Вот и ввалились они гурьбой в тот вокзал, где мы со своими узлами да вшами возле печек расположились, — глуховато продолжает рассказывать бабушка, — и смотрят на нас, как на зверей в зоопарке.

— Так это они и есть, немцы паршивые? — спрашивает один здоровенный бугай и пальцем в нас тычет. — Да я же их всех в момент одной левой порешу!

Ну, его там успокаивают, говорят, мол, Сеня, не надо, они не виноватые, они тоже пострадали... А Сеня никак успокоиться не может. Схватил за шкуру Арнольда Земана, за два месяца пути совсем дошедшего с голодухи, приподнял над полом и усмехается:

— А ну, — говорит, — фриц недобитый, покажи мне, какой ты герой!

Лысина у Земана от страха взмокла, ноги в воздухе болтаются — жалко и смешно было на него смотреть. А Сеня тот во вкус вошел и начал нас всех подряд матом поливать. Вот тут твой дед и не выдержал. Он смиренный-то смиренный, мухи сам не обидит, но не дай бог его разозлить... Наши мужики его в такие минуты как огня боялись. Вышел он перед тем Семеном, глянул из-под рыжих бровей, Семен и осел. Дед ему и говорит, мол, с кем ты воевать собрался, со мной? Так я Первую мировую всю отвоевал и Гражданскую тоже, и тебе шею сверну, как цыпленку, хоть ты и смотришься здесь таким боровом... А они, и он на нас показывает, такие же трудяги да колхозники, как и ты, только бездомные. Повыгоняли их из собственных домов и сюда привезли, чтобы они вместо тебя, героя, на фронт мантулили...

Семен тот, — тихо говорит бабушка после паузы, — в сорок третьем году без ноги вернулся, злой пуще прежнего, но деда нашего завсегда стороной обходил...

Бабушка умолкает, и я слышу, как тоскливо подвывает ветер в трубе да бьется о наши окна метель, сравнивая с крышей ослепительно-белые сугробы.

РУССКАЯ БАНЯ

Прибежал я из школы, одежду и валенки на теплую русскую печку побросал просушиться и к столу поскорее — проголодался. Смотрю, а на столе свечка стоит и бабушкина Библия, с крестом и непонятными мне буквами, рядом лежит. Удивился я — баба Амалья эту Библию никогда и никому не показывала, прятала в своем сундучке под кроватью. А тут она из горницы выходит и тоже какая-то необычная: в праздничном джемпере, гладко причесанная и вроде как помолодевшая.

— Ты руки мыл? — в первую очередь спрашивает она.

— Бабушка, ты че это сегодня такая? — спрашиваю я, неохотно выбираясь из-за стола.

— Какая это такая? — вроде как недовольно хмурится она, а я вижу, что она обрадовалась моему вниманию.

— И свечка зачем-то стоит, — ворчу я от рукомоЙника, — и Библия эта — пережиток прошлого...

— Молчи, если не понимаешь! — Теперь уже по-настоящему хмурится бабушка. — Сами вы — пережитки... Сегодня, внучек, очень большой праздник, сегодня Иисус Христос родился...

Про Иисуса Христа я, конечно, слышал, но я был пионером и относился к религии, как и все школьники того времени, — враждебно-воинственно.

— Да не было никакого вашего Христа, — начал было я перевоспитание бабушки Амальи и тут же умолк, настолько удивил меня ее вид: стояла бабушка посреди нашей кухоньки и умоляюще-испуганно смотрела на меня.

— Никогда, слышишь, никогда больше так не говори, — тихо попросила она. — Страшный грех это — так говорить...

Запомнил я эти ее слова, на всю жизнь запомнил, хотя долго еще шарахался из одной крайности в другую, пока не понял одну простую истину: веру люди находят только в себе. Она не может быть навязана или отменена извне — тогда это уже не вера. А у бабушки Амальи она была так же естественна, как ее дети, заботы о своем доме, радости и печали...

— Привезли нас в бескамышненскую контору две семьи, — вспоминает моя бабушка дальше, — нашу и Андрея Зейбальта. А председателем был в ту пору Василий Лукьянов, неплохой мужик, но больно психованный. Чуть что не так — мать-перемать! Встретил он нас в своем кабинете, посмотрел, как мы одеты, и говорит: «Я тут антимионии всякие не буду разводить, но одеть вас всех по-зимнему постараюсь, не то перемерзнете вы в такой амуниции в первый же день. А теперь так: семья Бауэр с Иваном Яковлевичем Сукачевым пойдет к Матрене Вениковой, семья Андрея Зейбальт — к Прасковье Золотых. Отдохнете с дороги, одежонку spravite и через пару дней в контору на разнарядку — дальше видно будет...»

И вот, внучек, благодарна я ему и по сей день за то, — говорит бабушка и пристально смотрит, как горит и вздрагивает от нашего дыхания желтое пламя свечи, — что он с нами, как с обычными людьми обошелся. Ни удивления, ни любопытства особенного у него к нам не было, словно мы уже лет десять в колхозе работали.

Матрена Веникова показалась нам вначале старухой, хотя и была всего-то лет на десять постарше меня. Невысокая, полная, шепутная чалдонка, как все звали русских в этих краях... В первую очередь велела она нам все наши вещи в холодном

сарая сложить, а самим в баню собираться. Что такое баня, да еще и сибирская, — мы понятия тогда не имели. И вот первыми пошли мужики — дед твой, Ваня да Вальдемар. Разделись это они в предбаннике и полезли, как потом рассказывали, в какую-то черную дыру, как в преисподнюю. — Бабушка тихо посмеивается. — А следом за ними и Матрена. Слышу я какое-то странное шипение за дверью, потом там что-то загремело, и вдруг твой дед, как есть голый, пулей оттуда вылетает, а за ним с воплями и ребята повыскакивали. Смотрю я, мои мужики открытыми ртами воздух хватают и ничего сказать не могут, а в дверях той бани пар клубится. Сунулась я туда — ничего не разглядела, но жаром меня, как из печки, обдало. А тут выползает Матрена из этой преисподней и ну мужиков обратно гнать:

— Вы что это мне тут пар зазря переводите! — шумит она. — Я столько дров спалила, а они тут как жеребцы скачут. Или вы хотите мне в дом ваших вшей нанести — не выйдет. А ну марш в баню! И больше не вылезайте, пока я не скажу...

— Все, Амалья, прощай, — шепчет мне твой дед, разглаживая рыжие усы, и ныряет в баньку. Делать нечего — ребята за ним...

Потом и мы вчетвером пошли: я да твоя мама, да тетки твои — Ида с Милей. Только это мы расположились, присмотрелись немного, как влетает Матрена, хватя ковшик с кипятком — и на каменку. И там словно что взорвалось, а потом как шибанет пар со всех сторон — дышать нечем, кажется, вот-вот и совсем позадыхаемся. Тут-то я вспомнила и поняла наших мужиков, которые перепугались, что их специально сюда заманули, чтобы втихомолку порешить, — потому и кинулись они из той баньки вон. — Баба Амалья опять смеется, и лучинки морщинок затаиваются в уголках ее глаз. — А Матрена уже всю одежку нашу волокет и над каменкой на жердочках развешивает. И веришь, как посыпались вши на каменку, аж треск стоит и вонь по бане пошла — до того много их было. И все, вшей с нас как рукой сняло: первую ночь мы тогда спокойно спали...

Догорает свеча. Я смотрю на ее крохотное пламя, и представляю события тех дней, и вслед за бабой Амальей тихо улыбаюсь.

САМОЛЕТ

— Трудно было — не приведи гос-споди, — не очень охотно начинает рассказ баба Амалья. — Раздетые, разутые, а главное — немцы! Это была наша главная беда. Как только похоронка черным голубем в нашу деревню прилетит, так хоть из дома не выходи. Ох, внучек, и наслушались же мы проклятий в свой адрес, ох и наслушались — на всю жизнь хватит. Меня даже не так обижало, когда мне в глаза говорили, что я фашистское отродье, как то, когда за спиной шептали, что мы спим и во сне видим, когда фрицы сюда придут. Вот это было действительно обидно! И как ты ни работай от зари до зари, как ни старайся, о тебе все равно думают, что это ты специально так стараешься, чтобы от себя подозрение отвести. И что ты им ни скажи в ответ, они все равно все против тебя повернут. Вот мы в основном и молчали, ходили как пришибленные и помалкивали. А уж ребятам нашим досталось, как никому другому. Любой пьяный мужик мог их обидеть, а раза два так и вообще чуть до смерти не забили. Вон, дядя Вальдемар твой, не с того ли всю жизнь легкими проболел... Пинками-то ему чай все внутренности поотшибали. Одна мама твоя через образование меньше всех этого позора и стыда перенесла, потому как направили ее на молокозавод в Беловку лаборантом работать, но у нее другая беда случилась...

— Какая, баба? — тихо спрашиваю я.

— В другой раз, внучек, не хочу я сейчас об этом вспоминать. Одно скажу, кабы не батенька твой преподобный — жила бы она и по сей день, а так вот ты уже второй год сироткой растешь. — Баба Амалья всхлипывает и утирает глаза уголком фартука. Следом за нею запотели глаза и у меня, но я сцепил зубы, стараясь удержаться. — В общем, пособирали нам по деревне одежонку и велели в контору колхозную приходить. А одежонку эту отдавали нам по принципу: на, Боже, что мне негоже. Да у людей и самих-то не очень много лишних тряпок было. Жили ведь все бедно, вприглядку, на трудодень, как тогда говорили, получали ноль целых пять сотых. Я ту одежду шила-кроила, штопала-перештопала, да много ли ты выгадаешь, когда всюду заплатка на заплате сидит и заплатой погоняет. Про обувку я и не говорю: выдали нам глубокие резиновые галоши, каждому по паре, и какие-то тряпки на обмотки. Спасибо, Матрена помогла, по фуфайке нам с дедом выгадала. Мы в тех фуфайках всей семьей года два по очереди ходили...

И вот пришли мы на разнарядку в контору. Иду сразу же на птичник определили. Миля глухонемая, я с малым дитем — нам ближе к весне работу пообещали подыскать. Сам знаешь, какая зимой в деревне работа? И вот дошла очередь до нашего деда.

— Это правда, — спрашивает его председатель, — что ты конником у самого Буденного служил?

— Как не правда — правда, — отвечает дед. — Даже грамоту от него имею...

— Ладно, посмотрим, — говорит Василий Лукьянов. — У меня в конюшне племенной жеребец стоит, по кличке Самолет... Никто из наших мужиков к нему подойти не может — боятся. А его выгуливать надо, ухаживать за ним: он же, паразит, племенной, три тысячи рублей стоит... Так вот, Иван Яковлевич, сможешь с жеребцом справиться? Ежели сможешь — быть тебе колхозным конюхом...

Дед помолчал, усы рыжие расправил и отвечает:

— Попробую.

Пошли мы все на конюшню, — рассказывает баба Амалья. — Отворили стойло, я как глянула на жеребца — мне дурно стало. Стоит этакий писаный красавец вороной масти, в холке едва ли не под два метра. Хвост по полу стелется, острыми ушами нервно прядает и копытом передним в деревянный пол бьет. А уж как глянул он на нас, я и попяtilась: где там к нему подойти, когда и смотреть страшно. Как демон какой в клетке-то стоит...

— Ну, Иван Яковлевич, как? — смотрит на него председатель и усмехается.

— Хороший жеребец, — отвечает наш дед, — да уж больно запущенный: грива нечесана, на крупе шерсть свалялась, копыта от навоза пожелтели — непорядок.

— Вот ты возьми и расчеши, — зло так говорит Степан Лукин, который за лошадьми в колхозе ухаживал, — а мы посмотрим.

— Это можно, — спокойно отвечает дед. — Только я что-то скребка и чесалки не вижу.

Принесли ему скребок с чесалкой.

— Только ты, Иван Яковлевич, поосторожнее, — предупредил председатель, — он ведь и зашибить может...

А дед наш уже и не слышит никого. Взял инструмент и пошел в стойло. Я не выдержала тогда, — улыбнулась бабушка, — зажмурилась. А когда глаза открыла, смотрю — мой Иван одной рукой гриву расчесывает, а другой жеребца по груди гладит. И так это у них все мирно и ладно получается, так согласно жеребец красивую голову наклонил, что любо-дорого посмотреть.

— Ну, Степан, что скажешь? — спрашивает удивленный председатель конюха.

— А что тут скажешь, — разводит руки Степан. — Он, наверное, слово какое знает — не иначе.

Так с тех пор твой дед бесшумным конюхом и работает, — заканчивает свой рассказ баба Амалья. — А я через того Самолета такое пережила, что не приведи гос-споди... Но об этом — потом.

ПОТОМ БЫЛ ГОЛОД

В этот вечер мы с ужином припозднились, потому что наш дед задержался на конюшне: ждал возчиков из Мамлютки. А они попали в сильный буран, заблудились и лишь каким-то чудом выехали к чабанам на Волчье. Там отогрелись крепким казахским чаем со сливками, дали отдохнуть лошадям и лишь затем с грехом пополам добрались домой. Дед наш, как положено, принял лошадей, определил на место, задал им корм на ночь и только после этого отправился домой. Мы поужинали картошкой в мундирах с хлебом и квашеной капустой, попили чай с комковым сахаром (главное лакомство моего детства), дед присел на корточки перед печуркой — покурить на ночь, а я, как водится, подступился к бабушке:

— Баба, а что дальше-то было?

Она уже перемыла посуду, насухо вытерла стол и теперь, вздев на нос очки с красной тесьмой, штопает наши старые носки и варежки.

Бабушка долго не отвечает, словно бы и не слышала моего вопроса, затем вдруг внимательно смотрит на меня поверх очков и просто, без выражения, говорит:

— Потом, внучек, был голод... Да такой голод, что ни приведи гос-споди никому такого пережить. Мы только тем и спаслись от голодной смерти, что у деда на конюшне лошадиный жмых ели, да иногда овсяную лепешку на всех испечешь... Вначале-то нас худо-бедно местные жители подкармливали: то картошки дадут, то миску квашеной капусты, а то и с десяток яиц. Да и молоком нас не обделяли до той поры, когда коровы телиться начали. Где-то с середины марта и до конца мая мы особенно голодали...

— Да нет, — замечает от печки дедушка, — в мае уже полегче было: корешками кормились, молодую крапиву варили, случалось — куропатка в петлю попадет, тогда и вообще дома праздник... Я этих петель по пятьдесят штук ставил. Надергаешь конского волоса из хвоста и где-нибудь под тальниками настрожишь. Глядь, когда-нибудь куропатка и попадет...

— К марту, — продолжает бабушка, — и сами местные пояса потуже затянули. На что Матрена нас завсегда выручала, а тут и она экономить стала: сварит чугунок картошки, молчком поест, когда разве Фриду угостит, и чугунок в печку спрячет. Майн Гот, по всему дому запах вареной картошки, слюнки так и текут, желудок судороги сводят, а поесть нечего. Начали мы свои обручальные кольца менять на картошку. Да ведь много за кольцо не давали — ведро-полтора, вот и вся картошка. А на сколько хватит того ведерка, если надо прокормить ораву в семь ртов? Потом Миля взялась по деревням ходить, милостыню просить. Много не давали. Но хоть какая-то помощь была. Начал Вальдемар дрова из леса возить одиноким женщинам — тем, у кого мужья на фронте были или погибли уже. Дед ему в сани быка запряжет, клок соломы на сани бросит да кусок подсолнечного жмыха в карман сунет — вот он с тем на весь день и уедет. Одежонка на нем никудышная: моя коротенькая фуфайчонка, штопаные-перештопаные штаны да галоши с обмотками, которые он к ногам веревками подвязывал, чтобы в снегу не потерять.

— А снега было в ту зиму — по пояс, — вставляет свое слово дед, — как никогда. Вот и попробуй по тому снегу в лесу воз дров наготовить. Взрослому человеку тяжело, а ему в ту пору только-только пятнадцать лет сравнялось.

— Вечером домой придет — едва ноги переставляет, — тихо улыбается бабушка. — А сам довольный-предовольный: то ведерко картошки ему за те дрова дадут, то кусок сала, то капуста квашеная. Вот мы и опять живем... А потом все, как отрезало: кольца и серьги, что у нас были, — распродали, от дров стали отказываться, потому как нечем уже было благодарить, и Миле подавать перестали. Вальдемар с Ваней еще ладно, побегут к отцу на конюшню вроде как помогать, там жмыха нажуются — вот и сыты. А что было делать с Фридой? — вздыхает бабушка. — Она ведь ничего не понимала, ей дай поесть и все... Ручонки тянет ко мне и плачет: «Мама, ням-ням хочу, мама, ням-ням...» — Бабушка умолкает, и я вижу, как трудно ей все это вспоминать. — Кабы не тот голод, может, жила бы она и по сей день, и теперь бы ей уже семнадцать лет сравнялось...

Дед глухо кашляет возле печки и сворачивает новую сигарку из махры. Баба Амалья отложила носок, подперла щеку рукой и неотрывно смотрит в стену, словно бы видит там лицо полуторогодовой своей Фриды, не выдержавшей голодной жизни...

— К весне она уже совсем прозраченькая стала, — сморкается в фартук бабушка, — и есть уже не просила. Лежит в кровати, смотрит на меня и все время спрашивает: «Мама, ты куда не уйдешь?» Нет, говорю я ей, куда не уйду, с тобой буду... Я-то куда не ушла, — всхлипывает бабушка, — а вот она...

И тихо стало на нашей кухоньке, так тихо, что зазвенело в ушах, и болью отдалась та тишина в сердце.

И до сих пор болит...

ТЕРПЕТЬ И ПОМАЛКИВАТЬ

У меня каникулы, и я целыми днями пропадаю на улице. Мы строим из снега крепости, роем в сугробах пещеры и воюем, воюем — без конца сражаемся: одна команда против другой. И вот откуда берется в детях эта неосознанная тяга к войне? Это бесконечное выяснение отношений, порой далеко не безобидное. В ту пору мы делились на «красных» и «белых», и белыми, разумеется, никто из нас быть не хотел. Но еще чаще шел водораздел между «русскими» (нашими) и фашистами (не нашими). Сколько обид, детской боли и разочарований вынес я (да и только ли я!) из тех детских игр! Вот и на этот раз я, как побитый щенок, возвращаюсь домой, а в ушах у меня так и стоит крик Кольки Лукьянова: «Нет, это ваша команда будет фашистской, у вас и немец настоящий есть!» Это — про меня... Кто бы мог подумать тогда, что пройдет более полувека, а я так и не забуду всю горечь той детской обиды.

Я прихожу домой, молча раздеваюсь, и моя баба Амалья сразу догадывается, что у меня какие-то нелады.

— Ну, что у тебя опять случилось? — спрашивает она.

— Ничего, — бурчу я и лезу на печку, в это неповторимо уютное тепло, исходящее от недавно протопленной русской печи. Здесь же лежит наша Мурка, уютно свернувшись в кольцо, а в валенках созревают зеленые помидоры — бесподобное лакомство посреди суровой зимы. — А только надоело уже, — не выдерживаю и жалуюсь я, — вечно одно и то же: немец да немец...

Бабушка некоторое время молчит, перебирая на столе лук-сеянец, потом рассудительно отвечает мне:

— А что делать, внучек, ежели мы и в самом деле немцы? Не наша в том вина, что мы здесь оказались... Да и в том, что ты к немцам относишься — ничего

плохого нет. И стесняться тебе нечего: немцы всегда трудолюбием да прилежанием отличались... Тут, внучек, не немцы виноваты, а фашисты проклятые, которые всю нашу жизнь поломали. А фашисты эти, как я понимаю, где угодно могут появиться, как зараза какая...

— И даже у нас? — удивляюсь я.

— Цыц! — прикрикивает на меня бабушка, и лицо у нее становится непритворно строгим. — Не вздумай еще где такое сказать... И с ребятами тоже язык не распускай, а то подведешь всех нас под монастырь.

— Бабушка, почему им можно на меня так говорить, а мне — нельзя? — удивляюсь я, свешивая голову с печки.

— Потому! — сердится бабушка. — Подрастешь еще немного — узнаешь... Вон, Пауль Зейбалт тоже слишком умный был, вопросы всякие любил задавать...

— Ну и что? — спрашиваю я.

— А то, что как забрали его в сорок третьем году, так и по сей день ни письма от него, ни весточки... А и всех делов-то было, — вздыхает бабушка, — что он на колхозном собрании взял слово и выступил. Нам ведь в те первые годы вообще говорить было не положено: куда пошлют — туда иди, чего прикажут — то и делай. А Пауль был с головой, хорошо в технике разбирался, любые задачки по школьным учебникам решал. Бывало, даже учитель математики к нему обращался, когда чего в учебнике не понимал. Весной его направили прицепщиком к Гришке Козлову на трактор... А Гришка, скажу я тебе по секрету, лентяй несусветный да любитель выпить и поесть на дармовщину. Вот они на пахоту выедут, час-другой поработают, Гришку в сон начинает клонить. Он, недолго думая, глушит трактор, какой-то там проводок обрывает и говорит Паулю, давай, мол, заводи, это твоя обязанность. А трактора тогда еще рукояткой заводили. Вот Пауль и крутит ту рукоятку до кровавых мозолей, а Гришка под березой отсыпается. Потом, когда выпитися, тот проводок подцепит на место, Пауля обматерит и трактор сам заводит. Да мало того, что обматерит, а еще и фашистской сволочью обзовет, и немецким шпионом, и фрицем конопатым. В общем, поиздевался он над ним вдоволь. Пауль, конечно, все эти фокусы с проводком быстро раскусил, и, как только Гришка под березу, — он проводок на место ставит и трактор заводит. Тогда Козлов тактику сменил, начал на большой скорости в конце поля развороты делать так, что Пауль лемеха у плуга не успевал поднимать. Вот они за корень или еще что зацепятся, глядишь, и поломались. Пока Пауль на тракторную станцию за новым бегаёт да на место его ставит — Гришка опять отсыпается. А на Пауля уже бригадир косо посматривает: мол, что это у него лемеха так часто из строя выходят?.. В общем, взял Пауль и выступил на собрании, все как есть — рассказал, — вспоминает баба Амалья. — Да не в том его беда была... Не выдержал он под конец и говорит: «Козлов меня все время фашистом обзывает, а какой я фашист, если родился и вырос при советской власти, работаю в советской стране и все делаю для того, чтобы мы поскорее фашистов победили. Если так рассуждать, как Козлов рассуждает, то фашистами можно не только нас, немцев, называть, а и многих других...» Вот этим, мне кажется, Пауль и подписал себе приговор, — вздыхает баба Амалья. — Он-то имел в виду всех, кого наравне с нами эвакуировали: с Кавказа и Украины, из Москвы и Ленинграда, а там, видимо, посчитали иначе... Через два дня приехали за ним из Мамлютки двое военных и забрали его прямо с плуга. Даже с родными не дали попрощаться. Так что, внучек, наше дело такое, — снова вздыхает баба Амалья, ссыпая отобранный чистый сеянец в небольшой холщовый мешочек, — терпеть и помалкивать...

И что-то грозное, малопонятное мне, встало за ее словами в нашем доме и всю жизнь сопровождало меня молчаливой и зловещей тенью.

На дворе февраль. Солнце в полдень поднимается уже довольно высоко, и сегодня впервые за эту зиму я увидел сосульку. Тоненькая, прозрачная, неохотно сранивающая с себя холодные капли, зависла она над оконным карнизом как первая, долгожданная весточка от весны. Я подставил ладонь, и холодные, звонкие капли обожгли ее неожиданной стынью, и тут же в северной стороне ворохнулся в своем углу пронизывающий ветер, пробрал меня до костей и небрежно отшвырнул сосульку в сугроб...

Тихая наша кухонька. Дед, привычно устроившись на коленях подле печурки, чинит сбрую, а баба Амалья с прялкой сидит на моей кровати.

— С осени сорок второго года, — рассказывает она, неуловимо-точным движением подкручивая веретено, — направили меня ночным сторожем на конюшню. Василий Лукьянов, царствие ему небесное, как лучше хотел, чтобы мы с дедом одну работу тянули, а получилось — не приведи гос-споди... А оно и в самом деле для нас поперву хорошо получалось. Пока я вечером дома управлюсь, ужин приготовлю, дед на конюшне и подзадержится, меня дождется, когда я его сменю. И утром та же история: он прибежит пораньше, примет у меня конюшню, а я домой управляться бегу: корову доить, обед готовить, дом прибираться. Гос-споди, — со вздохом сама себя перебивает баба Амалья, — и так-то вот всю жизнь — все бегом да бегом... Конюшня наша, как ты знаешь, стоит маленько на отшибе, поближе к колугинскому лесу и большаку. Видимо, задумали ее на том месте не случайно: запряг повозку и сразу на дорогу выезжай, а там — кати на все четыре стороны...

— Случайно только чирей садится, — замечает дед, усиленно натирая драгву большим черным куском вара.

— И то верно, — согласно кивает бабушка. — А было мне от этого расположения конюшни большое неудобство: от избушки надо было идти до нее метров триста. Осенью же, пока еще снег не выпал, темень такая, что хоть глаз коли. Руку протянешь, и пальцев не видно. Возьмешь в одну руку палку, в другую фонарь «летучая мышь» и идешь вокруг конюшни, смотришь, целы ли запоры на воротах. Тебя с фонарем за километр выдают, а ты вот ничегошеньки не видишь. И какая польза от той сторожки была — убей не знаю...

— Порядок есть порядок, — наставительно замечает дед.

— Дело было уже в декабре, — рассказывает дальше баба Амалья. — Сугробов намело — по самую крышу. И морозы жмут — не дай бог. Даже здесь, на конюшне, слышно было, как деревья в лесу от мороза трещат. Я в теплушке возле печурки вместе с Пашей Хрущевой, которая коровник с телятником сторожевала, отогреюсь, подвжусь полушалком так, что одни глаза видно, палку с фонарем в руки и айда до конюшни. И так всю ночь: полчаса мы в теплушке, полчаса на обходе. Хорошо хоть валенки колхозные выдали, а так бы не выдержать мне в те сорокаградусные морозы, поморозила бы я ноги... Где-то часа три ночи уже было, когда я с очередного обхода вернулась. Смотрю, Паша печурку расшуровала и печеной картошкой пахнет. Она мне и говорит: «Садись, баба Маруся, перекусим маленько». Меня-то в деревне все больше Марусей или теткой Марусей звали, — усмехнулась бабушка, — а она меня досрочно, значит, в бабушки произвела... Ну и села я, полушалок скинула. И только картофелину очистила, в соль макнула, а меня как кто острым ножом в сердце торкнул — так у меня рука в воздухе и застыла. «Ой, Паша, беда! — говорю я ей шепотом, а сама уже полушалок повязываю. — Беда случилась...» — «Да какая еще беда? — отмахнулась она от меня. — Не выдумывай!» А я фонарь в руки и — на улицу. Бегу по сугробам, а сердце у меня

так и заходится от недоброго предчувствия. И — точно! Подбегаю к главным воротам, а они — нараспашку. Вот тут-то у меня ноги и подкосились. — Баба Амалья откладывает веретено, наново переживая все, что случилось с нею в ту недобрую ночь. — И одна только мысль у меня в голове теплится — Самолет... Как на ватных ногах вхожу я в конюшню и — так оно и есть: стойло Самолета пустое. Тут я упала и заголосила...

— И вот скажи ты мне, — удивленно продолжает рассказ дед, — он же, кроме меня, никого до себя не подпускал. Разве что Вальдемар с Ваней могли еще подле него покрутиться, но чтобы к нему в стойло войти — ни-ни...

— Тут и Паша прибегает, — глухим голосом говорит баба Амалья, — подхватила меня с пола, успокаивает. А какой может быть покой, когда племенного жеребца, стоимостью в три тысячи рублей, невесть кто и куда с конюшни свел. Мы тогда эти деньги, в три тысячи рублей, и представить себе не могли. Вообразить такую сумму — это все равно, что по луне пешком пройти... И скажи вот ты на милость: то ведь тихо было, снег под ногами хрумкал, а под утро такая метель разгулялась, что мы три дня и носа никуда сунуть не могли. Они, эти воры проклятущие, как знали про ту метель, что она все следы ихние прикроет. И еще они потом на суде говорили, что, кабы я тогда от конюшни через пять минут не отошла, — они бы меня там и порешили... Но это потом было, много времени спустя, а тогда, внучек, тогда я пошла под арест как враг народа, вредитель, подрывающий оборону государства... Вот до чего твоя баба Амалья дожила.

Я лежу на теплой печке, свесив вниз голову, и вижу, как слезы незаслуженной обиды катятся по морщинистым щекам моей бабушки.

НА КОГО ТЫ РАБОТАЕШЬ?

Ровно год назад по всей нашей Бескамышке поставили свежеструганные телеграфные столбы, потом натянули провода и провели в каждый дом радио. И теперь у нас в горнице, на самом почетном месте — над комодом, висит черная горящая тарелка, на которую мы смотрим, как на восьмое чудо света, и только что не молимся на нее. Утром и вечером она сама по себе начинает говорить и сама же потом умолкает. И дед по этому поводу всегда шикает на меня: «Тихо! Сейчас она говорить будет...»

Сегодня Восьмое марта, и наша самоговорящая тарелка весь вечер рассказывает о счастливой судьбе женщин Советского Союза. Вспоминают знаменитых Пашу Ангелину, Полину Осипенко, Зою Космодемьянскую и Ульяну Громову. Читают стихи Некрасова и Безыменского. Радио говорит громко, чересчур громко, потому что у него не предусмотрен регулятор громкости, а выдернуть вилку из розетки никто не решается: боимся, как бы потом чего не вышло. Но вот восемь часов вечера, и тарелка умолкает до утра. Дед наш все еще на конюшне, и я в нетерпении подступаю к бабе Амалье с расспросами о той злополучной ночи, о тех событиях, связанных с кражей Самолета. Она долго что-то ворчит себе под нос, колдуя над квашонкой с тестом, потом неохотно начинает рассказывать:

— Я тебе уже говорила, что три дня и три ночи бушевала тогда метель... Люди по полдня откапывались, чтобы только из дома выйти, а уж где там искать жеребца? Он тогда как скрозь землю провалился. Мужики поездили-поездили на лошадках верхами, соседние колхозы провели — ни слуху ни духу о нашем Самолете.

Сгинул и — с концами. А меня после обеда через нарочного кличут в контроу. Ну, что делать, собралась я и пошла... Вхожу это я в контроу, а навстречу мне наш председатель, Василий Лукьянов, и глаза в сторону от меня воротит. Я к нему, а он на свой кабинет показывает и говорит мне: «Иди, там тебя дожидаются...» — «Кто это меня дожидается?» — удивилась я, а он только рукой махнул и пошел в бухгалтерию. И мне все еще невдомек, что и почему получается, — вздыхает бабушка и присаживается к столу. — Постучала это я в дверь и вхожу. Смотрю, сидит на председательском месте какой-то белобрысый военный человек, а пообочь от него — милиционер. Ну, думаю, дознаваться приехали. Может, даст бог, найдут они тех воров.

Пригласили они меня поближе подойти, а садиться не предлагают. Ладно, думаю, я и постою. Спросили у меня фамилию. Я называюсь, как положено, Сукачевой Амальей Августовной. А тот военный вдруг как с цепи сорвался: «Ты фамилией Сукачева не прикрывайся! — заорал он на меня. — Ты мне настоящую свою фамилию говори!» — «Какую такую настоящую? — растерялась я. — У нас и дети все...» — «Молчать! — снова орет он на меня и кулаком по столу. — Немецкую свою фамилию называй, понятно?!» Ну и сказала я ему свою девичью фамилию, а у самой все поджилки затряслись. Чувствую я, что они не лошадь искать приехали, а виноватого... Тут милиционер в разговор вступил, просит меня рассказать в подробностях, как дело было. Я и начала рассказывать про ту ночь. — Бабушка Амалья умолкает и затем горестно машет рукой. — Да ему этот мой рассказ и не нужен был вовсе — они до того уже Пашу Хрущеву обо всем расспросили... Вот и привязались ко мне, почему это я на ту минуту, когда жеребца воровали, от конюшни ушла. Я им отвечаю, что не было у меня такого приказа — от конюшни не отходить. Что этот приказ, если был его кто и дал, выполнить невозможно было из-за лютого холода... «Хватит! — опять заорал военный. — Слышали уже... А ну, — говорит он мне и в глаза как сыч смотрит, — рассказывай, кому это ты племенного жеребца отдала?» Вот тут, внучек, я на ногах и не удержалась, присела на лавку, потому как все поплыло у меня перед глазами. «Встать! — кричит на меня военный. — Кто тебе разрешал садиться? Быстро говори мне, кому ты жеребца отдала? На кого ты работаешь?» — «Воля ваша, — отвечаю я ему, — решайте, как хотите, а только никому я жеребца не отдавала. Как перед Богом вам говорю». — «Мы-то решим, не беспокойся, — со значением он мне отвечает, — и никакой бог тебе не поможет. Только учти: не хочешь здесь говорить — с нами поедешь, а там ты у нас бы-быстро заговоришь. У нас и не такие разговорчивыми становились... В общем, последний раз тебя спрашиваю и советую не юлить: куда ты дела племенного жеребца по кличке Самолет? На кого ты работаешь и кто тебе за это платит?» Не выдержала я того унижения и страха, заплакала, а он мне и говорит, мол, слезами делу не поможешь, а если не хочешь сознаваться — поедешь сейчас с нами... Вызвали они председателя, велели подводу готовить, чтобы меня, значит, везти. А Василий Лукьянов и говорит, что у меня дома трое детей остаются да сестра глухонемая, да что никак не могла я ничего плохого совершить. Ну, ему и указали на его место... Военный спрашивает: «Может, ты вместо нее поедешь?» Василий и осекся...

Баба Амалья опять умолкает, потом идет в угол и начинает месить тесто и уже через плечо глухо договаривает:

— Так и увезли они меня, ироды проклятые, даже домой не дали зайти, переодеться да с детьми повидаться...

Я смотрю на окно, сказочно изукрашенное морозом, и ничего не вижу: все подрагивает и плывет у меня перед глазами.

СПАСИ И ПОМИЛУЙ

Сегодня я трижды сбегал к колодцу за водой, и баба Амалья меня похвалила. Она с грустью сказала, что я становлюсь совсем взрослым. Увы, это далеко не так. Мне только двенадцать лет, и даже набирать полные ведра воды бабушка мне пока не разрешает. А еще я наколотл приличную кучу дров и вывез из-под коровы полные саночки навоза. Решив, что я таким образом вполне заслужил поощрение, я безо всяких предисловий спрашиваю бабу Амалью:

— А что с тобой было в Мамлютке?

Бабушка, перебиравшая за столом сушеную землянику на кисель, заметно вздрогнула и подняла на меня глаза.

— Фу, напугал, — говорит она мне. — Столько лет прошло, а я все еще спокойно слышать про Мамлютку не могу. Да если еще вот так, неожиданно, — по мне словно ток проходит... Так все внутри и сожмется в комок, — бабушка выдерживает длинную паузу, занятая своей работой, а потом задумчиво говорит: — Что было, спрашиваешь, а ничего хорошего, внучек... Привезли меня туда уже как арестантку и в камеру с другими посадили. А уж кто там только ни сидел, даже пионер один был, вот как ты по возрасту. Он из газеты, где портрет товарища Сталина напечатали, самолетик сделал и в школе его показал... Одна женщина своим голодным ребятишкам в зернохранилище карман пшеницы набрала, так ее при мне судили и десять лет дали. В общем, внучек, попала я туда и уже не надеялась, что когда-нибудь выйду оттуда. Что интересно, они меня с первого дня и до последнего только гражданкой Бауэр величали. Я и до сих пор не знаю, какой в том умысел был, но тем самым они меня как бы от семьи отгородили, лишили детей и мужа. И мне от этого стократ хуже было... Гос-споди, спаси и помилуй. — Баба Амалья быстро шепчет молитву на немецком языке, сцепив пальцы перед собой. — До вечера они меня не трогали, — продолжает бабушка свой печальный рассказ, — а часов в восемь потащили на первый допрос. Для этого у них была специальная большая комната, где, кроме стола и стула, на котором сидел следователь, ничего больше не было. И вот поставили меня перед тем столом, настольную лампу в глаза развернули и начали допрос. Опять все сызнава про имя и фамилию, только человек другой и очки у него на носу. Поначалу все вежливоенько так было: откуда и когда приехала, сколько детей и где они сейчас. Я ему все как на духу и рассказываю. А он вдруг ни с того ни с сего спрашивает: «Так сколько вы, гражданка Бауэр, за этого жеребца получили?» Я и опешила, не знаю, что ему ответить. А он мне между тем сознаться советует, мол, это учтется на суде и тогда меня, возможно, вообще отпустят. Да как же вы не поймете, отвечаю я ему, что взять на душу такой грех мне и в голову никогда бы не пришло... Часа два он меня мурыжил, даже взмок, бедолага, а потом на его место другой заступил. Этот совсем молодой был, нервный, все Магаданом меня пугал. В полночь его сменил тот, что за мной приезжал. А я уже на ногах не могу стоять, подкашиваются они у меня, перед глазами круги плывут и жарко мне от той лампы — спасу нет... Он мне и говорит, белобрысый-то, подпиши вот эту бумагу и пойдешь отдыхать. Тебе попить дадут и хороший ужин, и спать будешь, как у себя дома. Я чуть было не согласилась, — тяжело вздыхает бабушка, — до того они меня довели. А потом вдруг вспомнила дом, ребят своих и маму твою, и думаю: это что же они обо мне тогда подумают? Что мать у них с ворами заодно? Ну нет — не бывать такому! Как он тут подхватился, как начал орать на меня, ногами топать и стращать... В общем, три дня все это тянулось, и я уже думала, что не выдержу. Спать они мне не давали совсем, поесть принесли только один раз и то какую-то соленую рыбу, от которой меня надоумили в камере отказаться.

Это у них метод такой был: накормить человека соленой рыбой, а потом пить не давать. Многие этого не выдерживали. Ну и били меня, конечно, не без этого...

— Как — били?! — опешил я, не в силах поверить тому, что услышал.

— Обыкновенно, — усмехнулась баба Амалья, — по голове, чтобы следы не оставались... Это они хорошо знали — как. Особенно тот белобрысый старался. Он, бедный, аж позеленел весь, когда узнал, что воры те попались и вину свою признали. Никак он такого оборота не ожидал. Когда выпускал меня, говорит, мол, если хоть слово скажешь обо всем, что здесь было, поедешь на Колыму лет на пятнадцать... Так что, внучек, ты о нашем разговоре нигде и никому, понятно? Никаким друзьям своим, а тем более — малознакомым людям. Спаси и помилуй, гос-споди, — во второй раз говорит бабушка Амалья, и я, как эхо, повторяю за ней эти слова.

— А что с Самолетом было? — вдруг вспоминаю я.

— Задавился он, — вздыхает бабушка. — Они его тогда в лесу к дереву привязали. Ну, он повод вокруг дерева намотал и задушился. А воры-то были из Беловки, уголовники да бандюги. Через три дня пришли за ним, а он уже готов. Там-то их мужики-лесорубы и заметили, вызвали милицию и всех повязали. Дед твой месяца три сам не свой был. Да и я его сильно жалела — такого красавца сгубили.

СВЕТ ПАМЯТИ

И вот сколько я припоминаю теперь — бесконечный свет тепла и доброты был разлит над моим детством, благодаря чему я не столь остро пережил кончину моей мамы, умершей тридцати трех лет от роду, в 1956 году... И свет этот исходил от незабвенной моей бабушки (на веки вечные — пухом ей земля), Бауэр Амальи Августовны, прожившей труднейшую жизнь (две мировые войны и одна гражданская выпали на ее долю), но не надломившейся, не растерявшей и малой толики любви к ближнему и Богу. Все пережила и все снесла она с достоинством и смирением, которые в человеке не воспитываются и не прививаются, а даются ему от Бога. Даются в награду за долготерпение предыдущих поколений, трудом и прилежанием украсивших свой быт, а значит, и тот кусочек земли, на котором они жили. Немногословная, с виду суровая и непрístupная, моя баба Амалья на самом деле была добрейшим человеком, в любую минуту откликавшимся на человеческую беду и несчастье. Умение сопереживать, жить болью другого человека, видеть и в самом распоследнем деревенском придурке душу человеческую, вот то золото, которое сумела она накопить за свою жизнь и передать детям. И много чего еще она в этой жизни умела: быть отзывчивой и строгой, кормить семью, когда в доме хоть шаром покати, застенчиво улыбаться, прикрывая испорченные зубы, останавливать (заговаривать) кровь, лечить желтуху и женские болезни, напевать немецкие и русские песни, любить детей и жизнь во всех ее проявлениях... Но вот чего она точно не могла делать, это предавать людей и быть неблагодарной...

На всю жизнь сохранила она в себе любовь к родному Фриденталю, о котором могла много и очень интересно рассказывать, но и новую свою деревню, Бескамьшку, ценила, научившись понимать и уважать уклад и обычаи русских людей. Всегда мечтала вернуться в Крым, побывать на родительских могилах, но так и осталась навечно на случайно обретенной родине, под небольшим холмиком липкого казахстанского чернозема. А теперь уже столькими близкими ей людьми окружена на кладбище, что, думается мне, ни о какой иной доле и не мечтала бы...

Именно благодаря моей бабушке припоминаются мне из той поры все больше солнечные, ясные дни, когда далеко видно окрест и жизнь кажется заманчиво прекрасной. Вот и в этот весенний день ярко светило солнце, мычали коровы, соскучившись за долгую зиму по пастбищу, суматошно носился вокруг нас Верный — и в самом деле верный наш дворовый песик. А мы с бабушкой готовили огород под пахоту. Я выдираю с корнем и стаскивал в кучу подсолнечные палки, баба Амалья боролась на задах с бурьяном, а наш дед чинил плетень вокруг огорода. Это был именно плетень, а не забор и не ограда, потому что заплетался из молодых тальниковых побегов высотой примерно по пояс взрослому человеку. В основном — от кур, но и от скотины тоже. На соседних огородах занимались тем же, и мы изредка переговаривались, и баба Амалья, с трудом выпрямившись, уперев руку в поясницу, внимательно слушала и немногословно отвечала соседке Матрене Лукиной. А я стоял и смотрел, как дымятся кучи картофельной ботвы по всей моей родной деревушке, как согласно и дружно работают люди, о которых, казалось, я знал все и абсолютно ничего, как дымка испарений поднимается над полями и в стороне Колугино виднеются вершины могучих тополей. Я стоял и смотрел и еще не знал, что эта незатейливая картина навсегда сохранится в моей памяти и будет дороже всего, что я увижу за свою жизнь: экзотических пейзажей, замысловатых городских строений и исторических развалин... Что это исток и устье моей тоже далеко не простой жизни, освященной самым драгоценным человеческим даром — памятью...

Задымили и наши картофельные кучи, и потянул непередаваемо ароматный бело-голубой дымок по-над огородом. Мы стоим возле костра, и каждый о чем-то своем размышляет. Дед покуривает сигарку, баба Амалья смотрит на соседний двор, а я в своих мыслях уношусь далеко-далеко — в городскую жизнь, кажущуюся мне сказочно-меняющей, необычной и несбыточной.

— Ох, внучек, — неожиданно говорит баба Амалья, — чует мое сердце, упорхнешь ты скоро из нашего гнезда, и останемся мы с дедом совсем одни...

— Да ну что ты, бабушка, — пытаюсь возражать я, но она меня не слушает.

— И все вот так-то разлетелись, — глубоко вздыхает она. — Кто где теперь — не соберешь. А Лидочка наша, мама твоя, дальше всех от нас... Одна утеха, что, может быть, вместе с мамой моей они там меня поджидают... Да я и не задержусь, — просто говорит она, — мне бы только тебя поднять, наказ твоей мамы исполнить, а больше мне здесь и делать нечего...

И так просто, обыденно было это сказано, такая житейская мудрость сквозила в каждом слове, что ни я, ни мой дед, переживший бабушку на четыре года, не возразили ей.

Давно погасли их жизни на земле, давно нет и в помине нашей прекрасной Бескамышки, что стояла высоко над озером, у небольшого тракта, а свет благодарной памяти все не дает мне покоя, все тревожит меня. Так было, так есть и так будет...

И да святится имя ее, незабвенной моей бабушки — Бауэр Амалии.

